

Леонид Дроздов

ВОЛЧИЙ ЯР

16+

Леонид Дроздов

Волчий яр

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Дроздов Л. В.

Волчий яр / Л. В. Дроздов — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Октябрь 1905-го года. В Киеве, как и во всей Российской Империи, нарастает социальное недовольство. Представители различных профессий и сословий объединяются ради единой цели: революционной пропаганды и вооруженного восстания. Средоточием радикальных настроений служат подпольные ячейки РСДРП. К чему приведет эта опасная деятельность и как сложится судьба их участников?..

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	19
Глава 4	22
Глава 5	26
Глава 6	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

„Равенство существует лишь в рамках противоположности к неравенству,
справедливость – лишь в рамках противоположности к несправедливости“
Фридрих Энгельс

Глава 1

Комната, в которую никогда с утра не проникал солнечный свет, дремала тихим сном. Дети мирно сопели возле остывшей голландки, закутавшись в лоскутное одеяло жинка темной горою возвышалась над ними, словно князь Владимир над Днепром. Каким-то непередаваемым спокойствием веяло от этой картины, чем-то болезненно родным. Величайшая радость наполняла душу Филиппа в такие моменты. Хотелось елико возможно дольше сохранить эту идиллию, это чувство семейного очага и семейной сплоченности.

Тишина и безмолвие повисли в воздухе.

Половина пятого утра. К этому времени Филипп всегда просыпался и выключал заведенный загодя будильник. Делал он это для того, чтобы не потревожить сон любимых домочадцев, которым в такую рань еще спать да спать. Ему же нужно было собираться, чтобы к шести часам успеть на заводскую проходную.

Осторожно поднявшись с расшатанной и просевшей кровати, Филипп наощупь добрался до старого венского стула, на котором лежала приготовленная одежда. Холщовая рубаша, серая фуфайка, ладные справные помочи, крепко удерживавшие полинялые штаны, летом – кубовая жилетка и бостоновый пиджак – вот и весь скарб. Вот и весь гардероб токаря Бабенки.

Оросив лицо из рукомойника, мужчина потер шею, потянулся. В позвоночнике что-то хрустнуло – годы брали свое. К сорока годам уже не чувствовалось той легкости и того задора, который сопровождал его лет пять тому. Работа на заводе кого хочешь пополам согнет. Ладно еще инвалидом не остался, как Сидоренко, которому намеренно ампутировали руку, захваченную вращающейся заготовкой вместе с рукавом халата. Вот где беда! Никакие выплаты по увечьям в нашем «заботливом» государстве не предусмотрены, живи далее как знаешь. А что у Сидоренки пятеро детей – никому дела нет. Сам-де болван, не проверил патрон и крепление зажимного приспособления к шпинделю.

Что интересно сейчас едят евонья детки? Ох...

Нацепив смазные сапоги, юркнув в суконную куртку и нахлобучив помятый картуз, Филипп отворил дверь в мрачный коридор, взглянув напоследок на икону в углу. Грустно вздохнув, он подумал о том, что бога, вероятно, не существует, ибо за что он заставляет его каждое утро ни свет ни заря тащиться на осточертевший завод? Пока спускался по скрипучим ступенькам лестницы, думал о несправедливом устройстве жизни, где кто-то до гробовой доски вкалывает как проклятый, а кто-то всю жизнь ездит в белом ландо и кушает конфеты. Тьфу!..

Во дворе Филипп поежился от внезапно атаковавшего мороза. Октябрь – месяц капризный, переломный. С октября начинаются первые заморозки и первые стужи. Земля всё дальше отдалается от солнца, наступает самое депрессивное и меланхоличное время.

На балконе второго этажа сушилось еврейское белье. Еврейское, потому как подавляющее большинство квартирантов дома, в котором жили Бабенки, иудеи. Здесь нашли свой приют ремесленники, приказчики, студенты, рыночные торговцы и прочие сомнительные личности, из-за которых с регулярной периодичностью, раз в две недели, полиция устраивала облавы. Многие в России не знают: несмотря на то, что Киев расположен в черте оседлости, постоянное жительство евреев в этом славном русском граде воспрещается. Жить здесь могут лишь те евреи, которые могут жить и везде, как то: вышеуказанные ремесленники, купцы и их приказчики, студенты, солдаты и некоторые иные группы лиц. Однако даже эти ограничения не могут повлиять на быстрый рост иудейского населения. Вот и приходится встревоженным властям осуществлять изматывающие и зачастую бесполезные облавы, о которых евреи, как правило, знают заранее.

Ничего плохого в евреях Филипп не видел. Его семья как-то сразу сдружилась со всеми обитателями лишенного излишеств трехэтажного дома в «кирпичном» стиле (это когда архитектурные украшения выполняются за счет фигурной кирпичной кладки). В сущности это были милые отзывчивые люди, несколько более зажатые и скрытные, в силу своей правовой ограниченности и законодательно установленной ущербности. Черту оседлости Бабенко считал бесчеловечным варварством, и всякий раз в разговорах с соседом Шлёмой указывал на эту гнусную несправедливость к вящему удовольствию последнего.

Сегодня иудеи будут спать долго – работать в субботу им запрещает религия, как нам, православным, она запрещает стоять у станка по воскресеньям. Хотя на государственном уровне табельные воскресенья узаконили лишь восемь лет назад. До того в нашем славном Отечестве о таких мелочах не заботились.

Выход из мрачной арки как всегда был заперт решеткой – пришлось будить дворника. И ведь сколько раз Филипп просил его отпирать поутру ворота. Как об стену горох. Потому, видать, и дворник.

На пустынной улице темно, как в аду. Ни одного фонаря. Заря подыметя еще не скоро – примерно в половине седьмого, когда Филипп уже будет в цеху. Однако глаза быстро привыкают к темноте и вскоре начинают различать предметы, благо на зрение Бабенко никогда не жаловался, в отличие от своей жинки, которая в сумерках «ни зги не бачит».

Посреди плохо мощеной мостовой тянутся чернеющие рельсы. Скоро всех, а особенно тех квартирантов, окна которых выходят на самую Бульварно-Кудрявскую, разбудят железные чудовища – трамваи. Соседи с того крыла бают, что «колы така дура несется, ажно кровати ходуном ходют, да дитки пужливо вскакивают». Уж лучше б, ей-богу, на конях ездили...

Трамваев Филипп не любил. И не потому, что пяти копеек в одну сторону жалко, а потому, что пока есть здоровые ноги, надо их использовать по назначению, то бишь ходить. Вот когда неважко будет три с половиной версты до завода пешем пройти, тогда, пожалуй, и он запишется в пассажиры. А покамест пусть старики да лентяи катаются.

На другой стороне улицы расположился прекрасный четырехэтажный доходный дом с лепниной, пилястрами и маскаронами на фасаде. Классический образец богатства и зажиточности. Не чета их кирпичному «сараю». В тех хоромах едва ли кто-то из рабочих квартирует. Не иначе как чиновники или офицеры. Впрочем, этого Филипп наверное не знал, так как возвращался всегда поздно. И снова сделалось ему обидно за свое дрянное существование.

Хотя, сказать по правде, жаловался на судьбу Бабенко зря. Он и сам это в глубине души понимал, но неизменно желал себе лучшей доли, глядя, как не считают денег мастеровые-чехи, получавшие по сто тридцать рублей в месяц. Но и его, Филиппа, зарплата в тридцать целковых считалась по городу немаленькой. Иной чинуша столько не выслуживал. Денег сих вполне хватало, чтобы заплатить за маленькую комнатку с самоваром и дровами, чтобы прокормить жинку с двумя детками, чтобы починить прохудившуюся одежду или даже справить новую. Как правило, что-то еще сберегалось. Не больше «синенькой», конечно, но и то неплохо. В целом жить можно, от голода не помрешь, в обносках не останешься. Да и на черный день всегда скарбик припасен.

Вот уже и Галицкая площадь с ее торговыми рядами. По случаю субботы весь Евбаз отдыхает. Лишь самые отчаянные выйдут нынче за торговлей, чтобы сколотить копеечку. И всё-таки подобных богохульников набирается крайне мало. Здесь же высится своей неуклюжей пирамидальной колокольней Железная церковь – странная святыня из железа и чугуна, не пользующаяся авторитетом у паломников. Уже мало кто помнит ее правильное название: церковь Иоанна Златоуста. Тем не менее к этой заваливающей церквушке было приписано ни много ни мало почти семь тысяч верующих и неверующих душ – самый большой приход по всему Киеву. Бывал в ней Филипп редко, только если с детками и жинкой. Правда, последний раз на

Покров доводилось. Благоверная его всегда ревностно чтит бога и раз в неделю непременно ходила поставить свечку и замолить грехи, раз в месяц – на литургию причаститься.

На Бибииковском бульваре показались первые люди – рабочие заводских окраин. Вжавши голову в шею, они спешили на работу, с опаской озираясь по сторонам. Бабенко пытался узнать кого-либо со своего завода, чтобы завязать беседу и чтобы дорога не казалась такой скучной, но так никого знакомого и не отыскал.

От Триумфальной площади шла частная трамвайная линия до Святошина. Рабочие любили ею пользоваться, ибо не каждый желал шагать по холоду вдоль Брест-Литовского шоссе две с половиною версты. Именно столько оставалось Филиппу до завода Гретера и Криванека.

Киевский машиностроительный и котельный завод Гретера, Криванека и Ко был основан в 1882 году швейцарским предпринимателем и по совместительству бельгийским консулом Яковом Яковлевичем Гретером. В предместье Шулявке вырос крупнейший в городе завод по производству оборудования для сахарных заводов: паровых котлов, насосов, чугуноарматуры, рельс и подвесных мостов, а также кроватей, болтов, гаек и прочего. В основных цехах завода (чугунолитейном, токарном, монтажном, котельном, кузнечном и рафинадных форм) трудилось порядка тысячи человек. Под грамотным руководством чешского директора Иосифа Криванека завод получал выгодные заказы от Киевской, Воронежской, Николаевской железных дорог. Нехватка квалифицированных инженеров вынудила руководителей привезти из Австро-Венгрии чешских мастеровых, а инвесторов – способствовать открытию в Киеве Политехнического института. Амбициозный проект превзошел все самые скромные ожидания. К началу двадцатого века завод стал флагманом киевской промышленности и его гордостью. За весь беспокойный 1905 год (до самого октября) на заводе не было ни единой забастовки.

Между тем многие рабочие были ужасно недовольны своим положением, но опасаясь потерять престижное место, задвигали свои требования куда подальше. Росло всеобщее недовольство, которое рано или поздно обещало вылиться в грандиозную стачку.

Без четверти шесть Филипп уже подходил к проходной. За опоздание администрация могла наложить штраф, который ему был ни к чему. Каждый раз, когда Бабенко попадал на территорию завода, он думал о беднягах машинистах и смазчиках паровых машин, которые обязаны были приходиться на час раньше и уходить на ½ часа позже остальных. Получается, эти несчастные вынуждены работать «по-старому» – почти по 14 часов в сутки, – тогда как нынче закон предусматривает лишь 11 ½ часов. Однако заказов у завода было много, поэтому на норму выработки здесь имели обыкновение закрывать глаза, как, впрочем, и на иных русских предприятиях.

Последние полгода в своем токарном цеху Филипп занимался тем, что снимал горизонтальный облой с чугуноарфинадных форм. К работе этой он приноровился не сразу, а потому сперва часто получал замечания и штрафы за брак от строгих чешских мастеровых. Злость на самого себя и на мастеровых привела к тому, что снимать облой Бабенко научился едва ли не лучше всех в цеху. Товарищи завидовали его умению и признавали его бесспорное лидерство. При этом многие из них получали на три-пять рублей больше, тогда как Филиппу повышать зарплату никто не спешил. Это его, конечно, расстраивало, но не угнетало.

Встретив в цеху товарищей, Бабенко повеселел и с охотой взялся за работу. Что ни говори, а работу свою Филипп исполнял добросовестно и качественно и даже успел ее полюбить.

За обедом ему в руки попала любопытная листовка, взывавшая к социалистической справедливости. Филипп готов был подписаться под каждым ее предложением, под каждым словом. Такие запрещенные прокламации с этого года особенно часто проносили в цеха. После питерского «кровавого воскресенья» революционное подполье активизировалось в разы, сторонников социал-демократической партии резко прибавилось. Симпатизировал им и Бабенко.

Товарищи по цеху это замечали и постепенно, планомерно начали подготавливать почву, завлекать правдолюбивого токаря в свой «кружок». В ту вторую октябрьскую субботу рокового 1905 года к Филиппу впервые вышли с предложением вступить в Партию. «Мы бачимо, Пилип, що ты вжэ созрив встать з нами в один ряд в боротьби супротив цей гидры» – сказали они ему.

Бабенко сперва растерялся, сконфузился, как барышня на первом свидании, наконец, поборов смущение, просиял, улыбнулся во весь рот, бодро кивнул и энергично пожал протянутую ему грубую и шершавую рабочую руку. Эс-дэки по-дружески похлопали его по плечу и поздравили с верным выбором, но при этом сообщили, что его кандидатура должна будет пройти утверждение всеми членами. На резонное замечание Бабенки, почему его позвали в Партию без одобрения всех членов, ему ответили, что действительные члены должны сперва на него поглядеть и поговорить с ним. Филиппа попросили подготовить к завтрашнему дню небольшую речь, в которой он коротко поведаст о себе, своей семье и своем быту, а также расскажет собравшимся, почему он решил влиться в Партию. Токарь согласился, хотя и понимал, что оратор из него никудышный и что приготовить речь ему будет крайне тяжело. Затем ему велели завтра к четырем часам пополудни явиться без опозданий к воротам Старообрядческого кладбища в Лукьяновке. С собою никого не брать, дома о своем визите никому не болтать. «Жинка меня не пустит, не дознавшись куда иду», – заметил встревоженный Бабенко. Врать жене он не хотел, да и не умел. Он убежденно полагал, что горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Товарищи сочувственно вздохнули и посоветовали поставить жену в известность, но только чтобы была нема как рыба. Иначе, не ровен час, разнюхают «фараоны». На том и сошлись.

Под вечер Филиппа стали одолевать сомнения. «А нащо воно ему трэба?» – как сказал бы его покойный батька, царствие ему небесное (Бабенко машинально перекрестился). На кой ляд ему в единственный свободный от праці день тащиться к черту на куличики, да еще и на кладбище? Да и что это еще за глупость: устраивать собрания на кладбище? Очень это всё показалось Филиппу подозрительным. В сознании поселилось и окрепло позорное малодушие, которое никак не желало вытравливаться. А что, если его арестуют шпики? Он ведь тогда всю свою семью под монастырь подведет...

Товарищи Филиппа по цеху (те самые эс-дэки) заметили его озабоченность и сочли необходимым еще раз с ним переговорить. На сей раз они в довольно наглой и жесткой форме заявили Бабенке, что коли он боится полиции или в чем-то не уверен, то ему не следует к ним присоединяться. Быть членом Партии достойны лишь самые честные и бесстрашные. Те, для кого знамя Свободы дороже теплой комнаты и сытного ужина. Те, кто ради лучшей доли крестьян и рабочих готовы на лишения и невзгоды. Те, для кого борьба с упитанными царскими упырями священна и неоспорима. Те, для кого Правда не пустое слово. Смелые, сильные и дерзкие – вот те, кто нужен Партии, а не сомневающиеся и сочувствующие.

Филипп отчаянно запунцовел и возненавидел себя за бабью нерешительность. Его, к слову, так и прозвали на заводе «Баба». Ему всегда хотелось думать, что это двоякое прозвище образовалось от фамилии, а не от его поведения. «Решай, Баба, – сказали ему. – Другого шанса мы тебе не дадим». «Двум смертям не бывать, одной не миновать», – подумал Филипп и уверенно подтвердил свое желание быть частью Партии. Ведь только Партия печатала в своих воззваниях к народу правду. Великую Правду того тяжелого времени, в котором ему, заводскому токарю, велено судьбой жить.

В шесть часов вечера Филипп закончил работу. В шесть с четвертью он уже шел по Брест-Литовскому шоссе по направлению к дому. И снова, как и утром, город пребывал во мраке – от зашедшего час назад солнца, которого Филипп за весь день так и не увидел, не осталось и следа. Всё погрузилось во тьму, которую отчаянно и безуспешно пытались разорвать крохотные островки тусклого света, источаемого редкими электрическими фонарями. В проезжавших мимо переполненных трамваях хмуро теснились недовольные и озлобленные рабочие.

Глава 2

В воскресный день уставший за седмицу Филипп продрых до восьми часов. Не могли его разбудить ни копошившиеся в коридоре и во дворе соседи, ни проснувшиеся дети, ни тяжелый топот жинки. Благоверная раз двадцать хлопнула дверью, бегая в общую кухню, где у нее приготавлился борщ из купленных на Евбазе косточек и буряков. Дети охотно и с веселым смехом бегали за своей мамкой, путались у нее под ногами, дергали за подол, хватали без спросу столовую утварь, чем приводили женщину в большое негодование. Получив нагоняй с крепким словом, маленькие сорванцы бежали за защитой к своему тате. Тато же продолжал невозмутимо спать, слыша сквозь сон громкие детские возгласы.

Так повторялось каждое воскресенье. К этому Бабенко уже давно привык, закрывая глаза в прямом и переносном смысле на всю суматоху, царившую в эти благословенные утренние часы свободы.

Подкрепившись превосходным борщом, в котором даже обнаружили невеликие кусочки мяса, уписав полбуханки свежего с пылу с жару хлеба и опростав две кружки чаю с малиновым вареньем, Филипп довольно крякнул и снова завалился на свою железную скрипучую кровать отдыхать. Тотчас же к нему под бок забрались умаявшиеся пустовать дети. Обняв тату, сытые и счастливые, они обычно проваливались в полуденный сон. Жинка, усевшись на стуле у окна, занималась вязанием, ловко перебирая блестящими спицами. Раз в минуту она поглядывала, чтобы уснувший муж не скинул малых крох на пол.

Спать на единственной в комнате кровати дозволялось только Филиппу. Жена и дети единодушно уступили ему такое право ввиду того, что глава семейства с утра до ночи работал на заводе, а потому порядочно уставал. Ему требовался полноценный отдых, чтобы на следующий день не свалиться в обморок перед станком. Восстановить силы кормильца была их главная задача.

Вот уже несколько месяцев Бабенки копили деньги на новую кровать, чтобы к зиме не приходилось спать на холодном полу. Дети из-за этого всю прошлую зиму проболели. В особенно тяжелые дни Филипп уступал им свое место, а сам ложился на пол. Это неминуемо сказалось на его самочувствии. Вслед за детьми заболел и тато. Из-за высокого жару пришлось даже несколько дней провести дома. Пропущенные дни у него, разумеется, вычли, что стало большим разочарованием, когда вместо положенных тридцати целковых ему выдали только двадцать семь. Жинка после этого решила здоровьем мужа не рисковать, а потому настаивала, чтобы впредь батяно спал на кровати.

Той же зимой, набравшись смелости, Бабенко подошел к начальнику цеха и попросил дозволения забрать себе домой списанную за браком скособоченную кровать (надо напомнить, что на заводе Гретера и Криванека производили в том числе и железные кровати). Чех весьма удивился такой неординарной просьбе, но уважить своего токаря не взялся. Сослался на персональную материальную ответственность за все вещи, находящиеся в цеху, включая бракованные. К тому же, по его мнению, подобная благотворительность приведет к тому, что рабочие станут намеренно портить детали, чтобы затем иметь возможность забирать их в свое личное пользование. Такой прецедент повлечет за собой череду подобных просьб. Справедливости ради надо отметить, что начальник цеха все-таки посочувствовал Бабенке и выписал тому премию в размере одного рубля. А на следующий день чех, вероятно, поговорив с руководством, предложил Филиппу купить бракованную кровать за 2/3 ее отпускной цены.

Сказать, что Бабенко обиделся, значит, ничего не сказать. Ему, токаря с более чем двадцатилетним стажем честной работы на собственном заводе не могут пойти навстречу и отдать никомушную, бракованную кровать, но предлагают купить по сниженной на треть цене, тогда

как ее и за четверть цены никто не купит! Спишут в расход и выбросят на свалку. Даже переплавлять не станут.

Так вот по крупицам, по зернышкам накапливалось в душе Филиппа непонимание и раздражение, помноженное на отвращение к белоручкам-инженерам и администраторам, к толстобрюхим директорам, готовым удавиться за всякую копейку.

В три с половиною часа пополудни Бабенко вышел из дома и, вопреки обычному, отправился не к Бибииковскому бульвару, а в сторону астрономической обсерватории. Путь до Старообрядческого кладбища был неблизким: более полутора верст на север. Ежели не две.

Местность, в которую направлялся воодушевленный токарь, звалась Лукьяновкой. Изрытая оврагами и пересеченная косогорами, она представляла собою живописный уголок Киева, его западную окраину. Здесь с давних пор селились вечно подтопляемые подольцы и некоторые инородцы, приезжавшие для торговли и для обслуживания купцов с Контрактовой площади. Оттого и названия улиц там: Половецкая, Татарская, Печенегская.

Огромные просторы в центральной части Лукьяновки занимал Покровский женский общежительный монастырь, часто именуемый в народе «Княгинин монастырь». Княгинин – потому что основала его великая княгиня, принявшая затем монашеский постриг. В ее планы входило создать на территории монастыря общедоступные благотворительные учреждения, и ей это удалось весьма. Покровский монастырь со временем стал городом в городе. Здесь помещались больница, амбулатория, аптека, странноприимница, школа, мастерские, приюты. Каждый год монастырь посещали тысячи паломников со всей России.

Ну и конечно, выделялся он своими храмами в псевдорусском стиле: старой Покровской церковью и новым (достроенным лишь вчерне) Никольским собором. Заложенный еще самим Государем Императором Николаем Александровичем в 1896 году, этот самый большой в Киеве собор возводился чрезвычайно медленно. А сколько еще времени понадобится на его роспись?

Через Обсерваторный проезд Филипп вышел на Львовскую, пересек трамвайные рельсы и через уютный Кудрявский и крутой Косогорный проезды стал спускаться вниз к Глубочицкому оврагу, вдоль которого пролегалo одноименное шоссе. Здесь он снова пересек трамвайные пути и по крутому, освещенному заходящим солнцем склону Щекавицы, взобрался на Лукьяновскую. Сразу перед ним на противоположной стороне тихой улочки возникла кладбищенская ограда Старообрядческого некрополя, а внизу за ним – закрытого пару лет назад Щекавицкого кладбища. Место, мягко говоря, мрачное и как будто зловещее. Где-то поблизости залаяла собака. Бабенко собрался было подойти к кирпичной бреме (назначенному месту встречи), но тут же остановился в нерешительности: в сторожке у ворот сидел пышноусый сторож и внимательно следил за незнакомцем.

«Что же это я как болван буду у брамы тереться?» – подумал токарь. Холодный ветер, заходящее солнце, старые кладбища... Филиппу неудержимо захотелось бежать от всего этого прочь, пока еще не поздно. А сторож всё с интересом таранился на замешкавшегося рабочего.

«А может, это они меня испытывают?» – сообразил вдруг Бабенко. Ведь они говорили, что Партии нужны только смелые и бесстрашные. Но как же всё-таки трудно побороть собственный ляк. Недаром его «Бабой» прозвали...

Назвался груздем, полезай в кузов. Деваться некуда. Хочешь вступить в Партию, изволь принять лишения, с оными связанные. Филипп подошел к самым воротам. Усач-сторож всё также пристально сверлил его взглядом. Бабенке захотелось сквозь землю провалиться. Почувствовал, что начинает краснеть – этого еще не хватало! Надо что-то предпринять. Если бы он курил, не раздумывая задымил бы сигаркой, да не имел такой дурной, пагубной для здоровья привычки. Сейчас сторож спросит, каким лешим его сюда занесло, а он и не будет знать, что ответить. Не дай бог, городского окликнет. А далее арест, увольнение с работы, нищета. Но отчего же он молчит? Может, самому заговорить первым? Но о чем?..

Так прошло две или три минуты. Поблизости завывла собака. Да так протяжно и жахливо, что у Бабенки кровь в жилах застыла. Вспомнил он, что где-то здесь располагался Волчий яр. Кажется, чуть выше по Лукьяновской. Неужели волки?..

Не успел Филипп как следует испугаться, как из будки ему навстречу вышел сторож. У Бабенки задрожали коленки, его всего затрясло мелкой дрожью, а ноги сделались ватными. От усача пахло ядреным табаком.

– Так что ты тот самый рабочий с Южнорусского завода? – небрежно спросил сторож, сощурившись. В его манере держаться угадывалось унтер-офицерское прошлое.

– Какой такой самый? – преглупо захлопал округлившимися глазами Бабенко, но быстро взял себя в руки. – Да, я рабочий, токарь. Тут всё верно. Но не с Южнорусского я, а с завода Гретера и Криванека.

– Гретера и Криванека, говоришь? – усач задумался и вдруг просиял лицом. – Тогда всё в порядке.

Токарь понял, что это было что-то вроде проверки, пароля и что он эту самую проверку успешно прошел. Сторож громко закашлял. Тотчас из ворот кладбища появились трое эс-дэков – товарищей Филиппа по цеху. Токари приветливо с ним поздоровались, по привычке назвав «Бабой», и увлекли за собой вверх по Лукьяновской в Волчий яр.

Путь их лежал к бревенчатому деревянном домику с резными наличниками и аккуратным балкончиком на мезонине. В доме горел свет, доносились чьи-то веселые, беспечные голоса. Перед тем как войти никто из эс-дэков даже не оглянулся по сторонам. А вдруг засада?

Постучали в дверь. Через десяток секунд изнутри раздались легкие торопливые шаги, и вскоре на пороге возник высокий худощавый господин с длинным, загнутым крючком носом и элегантной мефистофельской бородкой. Одет он был в ладно подогнанную черную пиджачную пару с простеньким галстуком-регатом. Темно-карие глаза мгновенно скользнули по лицам токарей и, словно что-то считав, засверкали теплыми искорками.

– Вечер добрый, друзья мои! – брюнет сделал великодушный жест, приглашавший гостей войти.

– Здравствуй-здравствуй, дядя! – радостно отозвались токари.

Как только дверь за ними затворилась, лица всех вмиг посерьезнели, сделались угрюмыми. «Мефистофель» быстро подхватил Филиппа под локоть.

– Рады вас видеть, товарищ Бабенко. Меня зовут товарищ Розенберг. Будем знакомы, – скороговоркой прошептал он, пожав мозолистую ладонь токаря. – Это мой дом. Да вы не смотрите, что я на барчука похож, я всего лишь присяжный поверенный.

«Присяжный поверенный – это хорошо», – внутренне успокоился Филипп.

Оставив в стороне лестницу в мезонин, процессия вошла в просторную комнату-гостиную. За круглым столом под красным абажуром сидели трое: два темноволосых студента, один из которых с большой долей вероятности был евреем, а второй дворянином и весьма милостивая девушка с заплетенной в колосок светло-русой косой. На боковой консоли заливался популярным цыганским романсом блестящий медный граммофон. Довольно грубый женский голос, похожий временами на мужской, пел:

«... Я помню вечер – в доме спали,
Лишь мы с тобою, мой милый друг,
В аллее трепетно дрожали
За каждый шорох, каждый звук...»

Бабенко скромно поклонился. Ни студент, ни девушка не поднялись его поприветствовать. Вероятно, ждали, что скажет товарищ Розенберг. Но вместо Розенберга представлять Филиппа собравшимся взялся один из рабочих. Своего коллегу-токаря он аттестовал как трудолюбивого добряка с исключительно социалистическими убеждениями. Филипп снова поклонился.

– У нас не принято кланяться, товарищ Бабенко, – осторожно заметил Розенберг. – Мы люди простые, будьте естественны.

«Так уж и простые», – усмехнулся про себя Филипп. – «Особливо тот холеный универсант в новеньком с иголки сюртуке».

Заметив на себе недоверчивый взгляд, элегантный напомаженный студент с белоснежным воротничком взял инициативу в свои руки. Подойдя к Бабенке, он с почтением пожал тому руку, сверкая начищенными до антрацитового блеска модными ботинками.

– Позвольте представиться, товарищ Воронцов, – приветливо улыбнулся юный фронт. – Для своих просто Феликс.

В граммофоне тем временем брутальная певичка выводила совсем уж трагическое:

«...Я помню вечер, тускло в зале,

Мерцали свечи впереди,

А на столе она лежала,

Скрестивши руки на груди...»

Бабенко невольно сглотнул. Во всем этом ему мерещился какой-то страшный намек, что-то неминуемое и ужасное. Будто самое Проведение подсказывало ему, что он сбился с пути, ступил не на ту тропку. Всё его естество отчаянно сопротивлялось этому новому кругу людей, которые, показались ему на первый взгляд очень опасными. От всех и каждого исходила угроза, выражавшаяся в стальных характерах и в какой-то вседозволенной наглости. От собравшихся можно было ожидать чего угодно.

Следом за Воронцовым к Бабенке подошел второй студент. Под засаленным форменным сюртуком простая косоворотка. Волосы до безобразия грязны, неловко прилизаны. Росту чуть ниже среднего, субтильный, движения нескладны, но порывисты, нос с горбинкой, глаза навыкате, взгляд цепок. Руку пожал крепко, хотя, конечно, физически развит недостаточно.

– Енох Юдкевич, – прогнусавил студент.

Вне всяких сомнений еврей. Причем чрезвычайно умный, раз при мизерной квоте на иудеев сумел поступить в Императорский университет.

Подошла, наконец, и девица. Настоящая русская красавица, разве что бледновата и чуть худощава. Впрочем, нынче вся молодежь такая. За исключением буржуйских отпрысков.

– Товарищ Марфа, – сказала она как отрезала, протягивая свою фарфоровую ручку с тонкими пальчиками, истыканными иголками.

«Швея», – догадался Филипп. Одета просто, но со вкусом. Белая ситцевая блузка с баской, темно-синяя прямая юбка. Осиная талия наводит на мысль о корсете, но его у такой эмансипированной девушки быть не может априори. Глаза голубые, васильковые. Очень добрые, чувственные, но в то же время внимательные и полные решимости. За такими очами стоит стальной характер.

«Дивчина со стержнем», – определил Бабенко, сконфуженно прикоснувшись к ее ледяной долоне. Непривычно ему как-то с девицами ручкаться.

– Прошу к столу, товарищи! – распорядился хозяин дома.

Восемь человек расселись за круглым столом с трудом, впритирку друг к другу. При этом в углу у окна сиротливо стояли еще три стула. Стало быть, собрания тут случаются большие.

На столе скромно стояли две бутылки дешевого вина, расставлены лафитники, нарезаны холодные закуски. Филипп облизнулся, глядя на сырокопченую колбасу, но понял, что это всё сугубо для виду, а не для еды.

– Коли голодны, угощайтесь! – предложил Розенберг, ехидно улыбнувшись.

Бабенко покраснел и на колбасу больше не глядел. Осмотрел комнату. Светелка, что ни говори, просторная, мещанская. Только вот иконы нигде нет. Странно. Хотя, оно и к лучшему. У Партии своя религия. Не подумал как-то Филипп, что хозяин дома иудей.

Два невысоких книжных шкафа, плотно уставленных книгами, будто часовые, расположились по обе стороны от двери в сени. Рыжая портьера прикрывала проход в небольшую комнатку-кабинет. По той же стене побеленная голландка. Напротив – диван, обитый полосатым штофом. Те же рыжие портьеры на окнах. Ну и, конечно, граммофон, из которого вновь неслось пророческое:

«...Свидетель жизни неудачной,
Ты ненавистна мне, луна,
Так не гляди в мой терем мрачный,
В решетку узкого окна...»

Бабенку передернуло. Попасть за решетку в его планы явно не входило. Романс, исполняемый женщиной-мужчиной, ему очень не нравился. Набравшись смелости, он так всем и заявил:

– Щось у вас песни дуже невеселые.

– Что вы! Это же сама Варя Панина! – взорвался от такого невежества Розенберг. – Лучшая современная певица!

– Говорят, ей сам Никола-дурачок рукоплескал, – добавил Юдкевич со злой иронией.

Все улыбнулись. Последним криво усмехнулся Филипп. Нет, не потому, что он был глуп и до него поздно дошел смысл сказанного, а потому что сперва оторопел от такого величания государя-батюшки. Царя он, разумеется, не любил, но доселе никогда не слышал такого непочтительного обращения. Как только ни нарекали в революционных листовках нашего императора: и палачом, и Николаем Кровавым, но до площадных оскорблений никогда не доходило.

Варя Панина тем временем затянула новый цыганский романс, уже не такой траурный:

«Дышала ночь восторгом сладострастья...»

Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жадой счастья,
Я вас ждала и млела у окна...
Наш уголок я убрала цветами,
К вам одному неслись мечты мои,
Мгновенья мне казались часами,
Я вас ждала, но вы... вы все не шли...»

Под этот новый романс Бабенку попросили кратко рассказать о себе: кто он, что он и почему решил связать свою судьбу с Партией. Не привыкший к такому вниманию, Филипп долго не мог собраться, наконец, расправил плечи, набрал полную грудь воздуха, взглянул на собравшихся и начал неспешно повествовать:

– Звать меня Филиппом. Филипп Бабенко. Родом я из-под Киева, тутэшний. Працюю на заводе Гретера и Криванека токарем. Сколько працюю вжэ и не помню.

– Женаты? – полюбопытствовал Воронцов.

– Женат. Кроме жинки двое деток малых. Старшому семь, малой – пять рокив.

– В вашем возрасте у мужчин обычно больше детей, – заметила швея Марфа.

– Та двое померли...

– Простите, пожалуйста, – сконфузилась девушка.

– Царствие им небесное, малюткам, – тяжело вздохнул Филипп. Рука сама совершила крестное знамение. Собравшиеся сделали вид, что не обратили на это внимания.

– Как вас к нам-то потянуло? – спросил в лоб Розенберг.

– Как потягнуло? Та жизнь самая потягнула.

– Поясните, пожалуйста.

И выдал Филипп всё, что на душе накопилось, тяжким бременем на плечи давило и сердце терзало. Рассказал о суровых заводских правилах. Об изнурительном, почти 12-ти часовом рабочем дне. О неоплачиваемых неурочных часах. Об отсутствии выплат по нетру-

доспособности временно больным, а также увечным и калекам. О постоянных придириках мастеровых-чехов, о безразличии ко всему инженеров, о безнаказанности администраторов и директоров. О постоянном желании последних снизить рабочим расценки. О частых штрафах за брак. А коли выскажешь недовольство и пригрозишь забастовкой, тотчас пугают законом, по которому все, кто уклоняется от работы, могут быть арестованы на срок до одного месяца!

Об унижительной просьбе получить в свое распоряжение бракованную кровать, Бабенко, конечно, рассказывать не стал. Но упомянул, что за свою зарплату не может даже новую кровать купить.

Тем временем из граммофона пел чисто мужской голос:

«...О если б ты сюда вернулась снова,
Где были мы так счастливы с тобой!
В густых ветвях слышала б ты шепот,
Но – это стон души больной...»

– Люблю Камионского! – воскликнул вдруг Розенберг.

– Что?.. – не понял Филипп.

– Я говорю, обожаю романсы и арии Камионского, – с видом снисходительного профессора пояснил присяжный поверенный. – Что за голос! Чудесный баритон, не правда ли? К тому же Оскар Исаакович наш земляк – киевлянин!

Музыкальную дискуссию охотно подхватил Воронцов:

– Признаюсь вам, товарищ Розенберг, вкусы у нас с вами несколько разнятся. Я, например, Паниной предпочитаю Вяльцеву, а Камионскому – Лабинского.

– Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, ха-ха! – пошутил хозяин, довольный остроумным каламбуром. – Пластинок Лабинского у меня, увы, нет, а вот Вяльцеву я специально для вас, Феликс, поставлю!

– Премного благодарен! – оживился Воронцов.

Розенберг подскочил к граммофону.

– И всё-таки, гос... товарищи, вам стоит признать: голос Камионского божественен! – настаивал он на своем. Впрочем, разбираться в современных исполнителях романсов и арий токари, разумеется, не могли. Поэтому оставались лишь Марфа и Енох. – Что вы скажете, Марфуша?

– Не забываетесь, товарищ Розенберг! – вспыхнула швея. – Я вам не Марфуша, а товарищ Марфа!

– Прошу вашего прощения, товарищ Марфа! – подобострастно и несколько наигранно извинился Мефистофель, прижав к груди снятую пластинку.

– Перестаньте паясничать, товарищ Розенберг! Вам бы в театре играть, – произнесла, чуть оттаяв, девушка. – Извинения принимаются.

– О, нет! Мое призвание – юриспруденция. Я призван защищать людей, нещадно презираемых обществом и государством всего лишь за то, что они вольны мыслить по своему и желают для окружающих лучшей жизни!

– Поистине правое дело, – поддержал его Воронцов.

– Товарищи, вам не кажется, что вы скатились до пустой светской болтовни? – вновь завелась Марфа. – А между тем позабыли, что перед нами выступал товарищ Бабенко, что куда важнее, нежели цыганские романсы буржуазных певичек!

– Анастасия Вяльцева, между прочим, выбилась в эстрадные певицы из горничных! – напомнил Феликс. Как раз в этот момент зазвучал ее поистине приятный меццо-сопрано:

«Я молчу, не смею выразить словами,
Отчего бледнею, по ночам не сплю.
Догадайтесь сами, догадайтесь сами,
Сами догадайтесь, что я вас люблю!...»

Голос Вяльцевой Филиппу понравился определенно больше голоса Паниной. Тут и спорить не о чем. Да и репертуар у нее был что ли позадорней, не такой траурный, как у Варвары Паниной.

– Товарищи, имейте совесть! – взывала к собравшимся швея. – Давайте же дослушаем товарища Бабенку!

– Во-первых, мы его уже дослушали. А во-вторых, он нам еще не товарищ, – неожиданно заявил молчавший Енох. – Для этого должно пройти голосование.

– Так не будем же его откладывать! – нашелся Розенберг, вернувшийся за стол. – Но прежде чем проголосовать за включение товарища Бабенки в число наших соратников, я хотел бы разъяснить, какую ответственность и какие обязанности возлагаются на членов Партии.

Филипп весь подобрался, стал внимательно слушать то, что ему скажут. Все замолчали и лишь неподражаемая Вяльцева продолжала свой романс:

«...Если я в смущеньи робкими глазами
Каждый взор ваш жадно, трепетно ловлю...
Догадайтесь сами, догадайтесь сами,
Сами догадайтесь, что я вас люблю!
Если я в забвеньи с вашими устами
В жаркий поцелуй уста свои солью...
Догадайтесь сами, догадайтесь сами,
Сами догадайтесь, что я вас люблю!..»

– Итак, товарищ Бабенко, организация, в которую вы удостоились чести быть приглашенным вашими друзьями по цеху, является Лукьяновской ячейкой Киевского комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, – торжественно продекламировал Розенберг, поднявшись. Лицо его напрочь скинуло маску юмора, превратилось в физиономию настоящего дьявола. Глядя прямо в глаза Филиппу, лукьяновский Мефистофель продолжил: – На текущий момент наша Партия самая большая и единственная оппозиционная сила в стране, способная взять власть в свои руки. Наши комитеты существуют более чем в 30 городах Империи и активно содействуют достижениям наших главных целей как-то: свержение самодержавия и установление демократической республики, которая обеспечила бы введение 8-часового рабочего дня, равноправие всех наций, уничтожение остатков крепостничества в деревне, распределение помещичьих земель между крестьянами и прочая. Наши, без сомнения, справедливые и однозначные требования абсолютно неприемлемы правящему монарху и его свите. В этой связи на нас открыта охота. Вы должны четко понимать, товарищ Бабенко, что присоединившись к нам, вы становитесь врагом для полиции и жандармов.

– А я их другом никогда и не был! – гордо парировал токарь.

– Вот и славно. Тем не менее, встав в наши ряды, вы осознанно подвергаете свою жизнь риску. Вас могут в любой момент арестовать, осудить и отправить по этапу в Сибирь. Во многом поэтому наш предводитель, товарищ Ленин, вынужден руководить работой Партии из заграницы, но очень скоро, я не сомневаюсь, он прибудет в Петербург. Очень скоро мы захватим власть! Более того, царь и его приспешники уже дрогнули! Шестого августа сего года увидел свет царский манифест о созыве совещательной Думы. Император понял, что теряет контроль над страной, поэтому был вынужден пойти нам, социалистам, на уступки. Но не стоит обольщаться! Я убежден, что этот «Преображенский манифест» – фикция. Всего лишь жалкая приманка для нас с вами, товарищи, чтобы мы поверили в желание царя поделиться с народными избранниками властью, успокоились и растворились под гнетом верных опричников-жандармов. Но уверяю вас, никаких народных избранников в Думе (если, конечно, пройдут выборы), не будет! Слышите, не будет! Они придумают разные ухищрения, чтобы не допустить таких, как мы – честных борцов за народную свободу – к думской трибуне. Но нам это и

не надо! Прежде чем они проведут выборы и посадят в Думу своих марионеток, мы, социал-демократы, возьмем власть в свои руки! Возьмем спокойно, мирно и планомерно!..

– Возьмем! – разом откликнулись собравшиеся.

– ...и свергнем, наконец, проклятых угнетателей, товарищи! – разошелся в красноречии Розенберг.

– Свергнем! – вторили ему товарищи.

– Основная цель нашей Лукьяновской ячейки, товарищ Бабенко, подготовить пропагандистов социалистических идей Карла Маркса и Фридриха Энгельса для дальнейшего противостояния самодержавным сатрапам. Это очень ответственная и почетная миссия! Каждый день вы будете рисковать своей свободой ради свободы миллионов! Решайте, товарищ Бабенко, с нами вы или нет. Наш путь тернист, но он единственный ведет в светлое социалистическое будущее!

– Я с вами! – не раздумывая, согласился Филипп, вскочив со стула. – Я буду горд стать членом вашей ячейки!

– В таком случае на правах председателя Лукьяновского отделения Киевского комитета РСДРП я объявляю голосование. Внимание, товарищи! – поднял вверх правую руку Розенберг. – Кто за то, чтобы включить товарища Бабенку в число членов нашей ячейки, поднимите руки!

Все разом подняли руки.

– Итак, товарищи! Единогласным решением товарищ Бабенко производится в члены нашей Партии! Ура, товарищи!

– Ура! – воскликнули собравшиеся, вскочив поздравлять неопита под заливистую народную песню «Полосынька» в исполнении всё той же несравненной Вяльцевой.

По такому случаю открыли «декоративное» вино и вкусили отнюдь не бутфорских яств. Выпили за здоровье нового члена партии. Бабенко от вина наотрез отказался, ограничился стаканом морсу. Розенберг и «молодняк», вероятно, нафантазировали, будто он невесть какой пропойца, пьет исключительно горилку, а потому спиртному предпочитает безвредные напитки. На самом же деле Филипп уже как семь лет не брал в рот ни капли спиртного аккурат после того, как похоронил дочку. Дал себе зарок до конца жизни пить только воду, да всё, что не крепче квасу.

Затем Бабенко прошел подробнейший инструктаж по «технике безопасности». В первую очередь он не должен никому говорить о своих вечерних визитах в Волчий яр, кроме жены, а по возможности и ей ничего не объяснять. Выйдя из дому, оглядись, нет ли за тобой слежки. Будь предельно внимателен на всём пути следования. Никогда не носи на собрания партийные листовки и прочую агитационную литературу. Никогда не выдавай своих товарищей по Партии, даже если тебя будут пытаться. Если увидишь на балконе мезонина полотенце, знай, что явка провалилась. Если пришел раньше времени, обожди на Старообрядческом кладбище – усатый сторож свой человек. Ну и главное: в любой ситуации не поддаваться панике.

Остаток вечера Розенберг охотно «накачивал» товарищей марксисткой философией, разъясняя трудные моменты и отвечая на вопросы токарей, которым идеи немецкого теоретика коммунизма давались непросто. Наиболее способными учениками оказались Марфа и Феликс. Всё, что им втолковывал председатель, они усваивали налету, впитывали как губка воду. Что касается угрюмого и несколько нервного Еноха, то он, хотя и многого не запоминал, но почти со всем соглашался, вставляя изредка «это же и так ясно» и «так и должно быть». Казалось, в его голове уже четко сложились политические взгляды и тезисы и для того, чтобы их закрепить и взрастить, он и слушал Розенберга. Пожалуй, он больше всех из Лукьяновской ячейки был морально готов к вооруженному противостоянию с властями.

В семь с половиной вечера гости стали расходиться по домам. Перед этим хозяин дома с мезонином объявил, что ввиду готовящихся вскоре «грандиозных событий» он ждет всех

у себя завтра к восьми часам вечера. «Если будете успевать, приходите раньше», – сказал он рабочим, понимая, что пролетарии с завода Гретера и Криванека покидают проходную в шесть часов пополудни. «Жду каждого из вас! Это чрезвычайно важно!» – прибавил Розенберг тоном, не терпящим отказа. Напоследок он крепко пожал руку Бабенке, выразительно на того посмотрев. Взгляд присяжного поверенного негласно наделял Филиппа ответственностью и выражал некоторое уважение.

С этого дня токарь Бабенко стал революционером.

Глава 3

Студент четвертого курса Киевского Императорского университета Святого Владимира Феликс Иванович Воронцов хотя и происходил из обедневшей ветви знатного русского рода, но своего графского титула сторонился и вообще всячески симпатизировал социалистам еще с гимназической скамьи. Уже тогда юный Феля начал понимать, что далеко не каждому отроку суждено получить среднее образование (не говоря уже о высшем) и что есть конкретные слои и национальности, которым это сугубо тяжело, а зачастую положительно невозможно. В самом же учебном процессе преподаватели и профессора относились лучше лишь к тем гимназистам и студентам, которые имели влиятельных и богатых покровителей-родителей. И если с первым пунктом у феликсовых рара et мамап было всё в порядке, то со вторым с определенного момента начались большие трудности.

Так случилось, что граф Воронцов – старший оказался на редкость бездарным финансистом. Не сумев должным образом распорядиться оставшимся от предков капиталом, он доверился отъявленным аферистам, втянулся в сомнительные прожекты и, как следствие, прогорел. Семья была вынуждена покинуть просторный особняк в Липках и перебраться в скромную квартиру на Большой Владимирской. Штат прислуги сократился до одной единственной горничной, которая, помимо всего прочего, любезно согласилась исполнять обязанности кухарки. Это была еще молодая крестьянская девушка из Полтавской губернии, с которой гимназист Феликс впервые лишился невинности. Он также хорошо знал, что она одновременно приходилась любовницей и его отца, который из всей прислуги предпочел оставить лишь ее. Такое положение дел устраивало всех, потому как мать Феликса ни о чем не подозревала.

Через какое-то время полтавчанка забеременела, и отец поспешил от нее избавиться, опасаясь за свое всё еще высокое реноме. Он нисколько не сомневался, что ребенок от него, а потому предложил ей сперва вытравить плод, на что крестьянка не согласилась, заявив, что это большой грех. Его сиятельству ничего не оставалось, как рассчитать бедную горничную и отправить на все четыре стороны. Расщедрившись, он выдал ей сверх положенного «Катеньку». Так и полагал старый кретин, что в ней его семья, тогда как оно могло быть в равной степени и Феликса.

Уход из дома горничной Феликса ничуть не смутил, скорее даже обрадовал. Последние месяцы она ему ужасно надоела, будучи полезной лишь в тех случаях, когда у молодого графа начинали шалить гормоны. Ответственности за возможное отцовство юноша не чувствовал, как будто это его не касалось. Более того, он потерял всякий интерес к ее дальнейшей судьбе и никогда с ней более не встречался.

Летом 1902 года Феликс поступил на Юридический факультет Киевского Императорского университета Святого Владимира. Тот и последующие годы ознаменовались массовыми забастовками на фоне жесткой реакции правительства в отношении свободолюбивых студентов и недовольного пролетариата. Начиная с 1899 года (когда вспыхнули первые университетские стачки) царское правительство издало два временных правила, в которых строго определялись возможности и принципы организации студенческих учреждений. Власть имущим дозволялось увольнять неугодных юношей из высших учебных заведений с последующей отдачей оных в солдаты. Такие репрессивные меры вызвали бурю негодования в студенческой среде, которая еще больше ощерилась против самодержавного строя.

Масла в огонь подливала Российская социал-демократическая рабочая партия, а вернее, издаваемая ею нелегальная газета «Искра». Раз в две недели в университет непременно проносили ее новые номера. Изданием дружно зачитывались на перерывах, собравшись толпами. Стоит сказать, что кое-кто из профессоров также читал «Искру».

Так, что называется на старых дрожжах, из графа Феликса Воронцова начал формироваться убежденный социалист. Идейным революционером он стал тогда, когда близко сошелся со своим сокурсником из Медицинского факультета Енохом Юдкевичем. Невзрачный на вид, Юдкевич покорила Воронцова своим гениальным умом и феноменальной памятью. Происходя из семьи небогатого бердичевского цирюльника, еврей Енох с блеском выдержал вступительные экзамены в Киевский университет. Перед поступлением ушлые знакомые подговаривали его креститься, чтобы иметь больше шансов на успех, но своенравный Юдкевич от ренегатской идеи наотрез отказался. И не потому, что он презирал выкрестов или чтит иудаизм, но потому, что ко всякой религии относился враждебно. В Бога он никогда не верил и рассматривал веру во Всевышнего большим человеческим заблуждением и большой человеческой глупостью. В равной степени он не любил иудаизм, христианство и магометанство. Чуть лучше относился к буддизму, хотя и таковых апологетов считал неправыми.

Основой мировоззрения Еноха Юдкевича стала коммунистическая философия немецких мыслителей Маркса, Энгельса, Либкнехта и прочих. Принципы свободы, коллективной собственности, интернационализма стали для него краеугольным камнем всей жизни. В них он услышал то, о чем сам догадывался, но никак не мог сформулировать. В них он увидел будущее.

Юдкевич одним из первых в университете вступил в ряды местного РСДРП и стал вести активную пропагандистскую деятельность среди студентов. Со своими единомышленниками он устраивал стачки, требуя свободы собраний, прекращения политических преследований, освобождения арестованных и возврата отданных в солдаты. Будучи образцовым универсантом по успеваемости (все экзамены он сдавал с первого раза и исключительно на отметки «весьма удовлетворительно»), но главным зачинщиком забастовок, Енох находился на хорошем счету у профессоров и на плохом у педелей и инспектора. Несколько раз инспектор писал на имя ректора докладную, в которой предлагал рассмотреть вопрос об исключении группы студентов, первым из которых он неизменно ставил Юдкевича. Ректор хотя и понимал всю опасность, исходившую от революционеров, но скоропалительных решений предпочитал не принимать. Он резонно полагал, что увольнение хотя бы полдюжины универсантов может привести к куда более печальным последствиям, нежели пребывание этих самых личностей в лоне *alma mater*. К вящему негодованию инспектора из числа студентов исключались лишь те, кто был уличен в преступлении или те, кто не справился с учебным курсом. Исключать за политику не имело смысла, иначе пришлось бы разогнать добрых 2/3 университета.

В 1904 году Юдкевич влился в Лукьяновскую ячейку Киевского комитета РСДРП, возрожденную большим энтузиастом, присяжным поверенным Розенбергом. В начале этого года Енох сошелся с дворянином Феликсом. Юдкевич сперва скептически отнесся к Воронцову из-за его «сиятельного» титула, однако впоследствии переменил мнение и, более того, получил в свое распоряжение верного товарища и близкого друга. Оба юноши одинаково смотрели на мир, оба желали для России истинной свободы, которую, как они верили, могла дать только революция. В апреле Розенберг на правах председателя кооптировал Феликса в члены Лукьяновской ячейки. Каждую неделю молодой граф вместе с Енохом посещал партийные собрания в доме с мезонином в Волчьем яру, где пропитывался духом коммунизма.

Близость Воронцова и Юдкевича не могла остаться без внимания многочисленных педелей и помощников инспектора (которых у того было аж одиннадцать). С родителями Феликса была проведена обстоятельная беседа на тему правильного воспитания их «заблудшего сына». Дома ему попытались втолковать «прописные истины», однако своей цели не достигли. На долгие рацеи *rara et matra* Феликс презрительно ответил, что в чьих-либо советах не нуждается. Отец хотел было выгнать его из дому, но воспротивилась мать, и старому графу пришлось поумерить свой пыл. С этого момента Феликс понял, что за ним ведется пристальное наблюдение. По совету Еноха походы в Волчий яр он на время отложил, на первомайскую демон-

страцию не пошел, в спорадических стачках не участвовал. Спокойно выдержав экзамены по окончании курса и получив от инспектора увольнительный билет, Воронцов уехал с семьей на время вакаций к родственникам в Москву. В Первопрестольной он прожил до конца августа, после чего вернулся в Киев. Первым делом он явился к инспектору засвидетельствовать свое возвращение из отпуска. Инспектор любезно подписал ему билет на право слушания лекций и отпустил с миром, уверенный в том, что Феликс порвал с революционным прошлым.

В сентябре Воронцов вновь стал тесно общаться с Енохом и посещать собрания партийной ячейки в Волчьем яру. Его первый после отпуска визит в дом с мезонином ознаменовался волнительным событием. В гостиной товарища Розенберга, помимо известных ему личностей, оказалась весьма миловидная девушка с чудесной светло-русой косой. У Феликса перехватило дыхание и сжалось сердце.

Розенберг представил красавицу как товарища Марфу. Она оказалась швеей и идейной коммунисткой. Мельком взглянув на Феликса, она к его глубочайшему разочарованию безразлично отвела взор. Очевидно, по какой-то причине он не вызвал у нее интереса.

Это обстоятельство его весьма задело. Феликс по праву считал себя более чем симпатичным молодым человеком и если не писанным красавцем, то уж претенциозным денди точно. Он всегда щепетильно следил за чистотой воротничков и блеском обуви, пользовался новейшими одеколонами, ароматными фиксатурами и вежеталиями и всегда одевался с подчеркнутым щегольством, следуя последним европейским модам. В обхождении с барышнями был галантен и сдержан, но при этом не стеснялся в их присутствии отпускать гривуазные шутки. Современными кокетками такое поведение мужчин приветствовалось и поощрялось, поэтому недостатка в женском внимании у Феликса не было. При этом он не чувствовал себя счастливым – найти ту самую единственную у него не получалось. Поиски каждый раз натывались на хорошеньких барышень, которые при детальном изучении оказывались положительно непригодными для супружеской жизни. Теперь же судьба приготовила ему замечательный подарок: свела с обворожительной крестьянкой-социалисткой. Что может быть лучше?

В тот же вечер, по окончании собрания, граф Воронцов решил «пойти на ура». Завел с товарищем Марфой разговор на отвлеченную тему, а затем очень изящно и ловко предложил девушке сопроводить ее до дому. Разговор она неохотно поддержала, но провожать себя категорически запретила. Феликс не стал настаивать, чтобы не показаться наивным. Для первой встречи он и так зашел далеко, открыл ей свою заинтересованность. Всю ночь он не мог заснуть, думая о свалившейся как снег на голову Марфе. Ничто так не занимало его все последующие дни, как она. Университетские лекции казались ему скучными, а партийные собрания пресными.

После очередного собрания, потерпев оглушительное фиаско от неразделенной любви, Феликс проследил за девушкой и выяснил, что она квартирует в доме Линчевского на Рейтарской. Теперь он, по крайней мере, знал, где ее найти. Немного успокоившись, он сменил тактику на выжидательную и вернулся к изучению юридических дисциплин и трудов Карла Маркса. На Марфу он более не обращал внимания, всем своим видом показывая, что утратил к ней интерес. Таким образом он решил действовать от противного, воззвать к ее женскому самолюбию. Не знал тогда Феликс, что сердце белокурой красавицы прочно занято другим.

Глава 4

Портной Лейба Прейгерзон владел весьма доходным ателье на Фундуклеевской. Шили у Прейгерзона первоклассные мужские платья из первоклассных русских и заграничных тканей. Его услугами пользовались состоятельные предприниматели и банкиры, архитекторы и инженеры, даже господа из городской управы, а самый пристав лично ему покровительствовал (не безвозмездно, конечно). Как известно, далеко не всем евреям разрешалось селиться в Киеве, даже несмотря на черту оседлости. Для Лейбы Прейгерзона таких сложностей не возникало. Он добросовестно исполнял свою работу, чем заслужил общественное признание и снискал себе славу одного из лучших городских портных.

Справедливости ради надо сказать, что своим высоким признанием он был обязан пяти швеям, четверо из которых были еврейками и только одна русской. Так уж у иудеев завелось, что работать лучше со своими. Прейгерзон всегда следовал этому старому, проверенному принципу и, возможно, благодаря этому преуспел. Девушки работали охотно и с большой аккуратностью, ибо понимали, что с их происхождением найти что-то лучшее в Киеве едва ли удастся.

Белой вороной в лейбином ателье была русская девица Марфа. Светло-русская, голубоглазая крестьянка отличалась не только миловидным личиком и точеным станом, но и великой порядочностью вкупе с большим дружелюбием. К евреям она относилась уважительно и равноправно. Даже в редких конфликтах или перебранках никогда не указывала им на национальность и не обзывала «жидами». Держалась всегда в высшей степени уверенно, точно следуя своим социалистическим принципам. То, что она состоит в РСДРП, Прейгерзон, конечно, догадывался, но упрекать ее за это не решался. С одной стороны он был ей чрезвычайно благодарен за отстаивание прав угнетенных классов и народов, но с другой стороны понимал, что в случае ее ареста у его ателье могут возникнуть неприятности с умасленным и лояльным приставом. С этого года власти особенно люто расправляются с революционерами, каленым железом выжигают их ячейки и комитеты. Поэтому Лейба Прейгерзон благоразумно выбрал сторону нейтралитета. В глубине души он понимал, что это не что иное, как иезуитство, однако вступить в открытую конфронтацию с полицией он не мог.

Единственное, что настораживало в Марфе, так это ее ненависть к богатым клиентам. Очень уж она не любила дворянское сословие за его лоск, надменность, важность и праздность. Могла подчас вспыхнуть и грубо ответить «буржую», обратившему на нее свой пошлый взгляд или сделавшему ей недвусмысленный комплимент. Прейгерзона такие случаи ужасно конфузили – за каждого клиента он держался зубами, точно собака за брошенную кость. Марфу после подобных эскапад он всегда журил, припугивал, что выгонит из ателье, но палку не перегибал. Опасался нарваться на грубость. Боялся, что она действительно уйдет.

Что касается самой Марфы, то смыслом своей жизни она видела борьбу за свободу и равноправие всех жителей большой и многонациональной России. Люди для нее делились на два типа: угнетенные и угнетатели. Первым она благоволила, помогала, вторых – ненавидела. Дворяне были в ее глазах бездушными эгоистами, жирными и чопорными болванами, получившими право «ездить» на крестьянском горбу. Дворян она презирала всей душой и нередко позволяла себе резкие выражения в их адрес. За это она тотчас получала нагоняй от хозяйина ателье – предприимчивого пятидесятилетнего еврейского дядьки, однако знала, что он ее никогда не выгонит. Не выгонит, потому как она ему симпатична. Сперва даже ухаживать за нею взялся, но, потерпев оглушительную неудачу, эту затею бросил. К Марфе он был всегда внимателен и обходителен. Вероятно, не терял надежды затащить в кровать.

В его ателье Марфа работала уже больше двух лет. Порекомендовала ее знакомая еврейка, которая и замолвила перед Лейбой Прейгерзоном словечко. Тот при первой встрече,

безусловно, оценил всю красоту крестьянской девушки, отметил ее еврейское имя, но смотрел в первую очередь на способности. Посадил за новенькую машинку «Зингер» и дал прострочить старый сюртук. Марфа очень старалась и не без труда справилась. Прейгерзон остался доволен, на небольшие огрехи внимания не обратил – понял, что из девушки получится великолепная швея.

Шить мужские платья стало ее призванием. Работу свою она полюбила, даже несмотря на то, что шила для господ состоятельных и важных. Порой ей приходилось шить такие широкие брюки, в которые бы поместились разом все ее три брата, вынужденные с утра до ночи горбатиться в артели крючников на Днепре. У одних штаны на брюхе не сходятся, у других напротив – из-за ввалившегося живота не держатся, спадают. Социальное расслоение приводило ее каждый раз в бешенство, но при клиентах она изо всех сил сдерживала себя от язвительных замечаний. В первую очередь не хотела подводить Прейгерзона, давшего ей возможность стать профессиональной швеей. За одно это она всегда будет ему благодарна и всегда будет стоять на его стороне.

Другие швей-еврейки ей завидовали. «Повезло тебе, Марфа, родиться такой красивой, да еще и русской. Мы вот принуждены лишний раз на улице не появляться», – говорили они ей. «Ничего, – утешала их девушка, – Скоро наступит время справедливости, и вы сможете спокойно жить там, где вам захочется! Ведь вы такие же граждане, как и я!». Ее всегда охотно слушали, как слушают чепуху ребенка взрослые, но, конечно, ее оптимизма никто из иудеек не разделял.

В Лукьяновскую ячейку РСДРП она вступила относительно недавно – в конце этого лета. Некий присяжный поверенный Розенберг, заказавший в их ателье платье, сразу разглядел в Марфе потенциальную революционерку и без лишних экивоков предложил ей вступить в их отделение. Недолго думая, девушка согласилась и с того момента стала завсегдаем собраний в доме с мезонином в Волчьем яру. О своей новой общественной инициативе она никому, в том числе Прейгерзону, не рассказывала, ибо хорошо понимала, что держать у себя революционерку Лейба не станет. Она искренно полагала, что он ни о чем не догадывается. Однако еврейская среда устроена таким образом, что в ней не то, что шила в мешке, иголку в стог сена не утаишь.

Собрания у Розенберга отличались душевной атмосферой среди соратников, единомышленников и товарищей по несчастью. Ячейка была сравнительно небольшой. Помимо самого председателя и Марфы в нее входили трое рабочих с завода Гретера и Криванека и угрюмый студент Енох Юдкевич из университета Святого Владимира. Однопартийцы единогласно проголосовали за вступление товарища Марфы в свои ряды, выразили ей свое одобрение и свою поддержку. И что ей нравилось больше всего, все относились к ней, как к соратнику, но не как к девушке.

Всё изменилось с приходом осени, когда в их ячейку вернулся отсутствовавший на время летних вакаций студент, друг Юдкевича. Феликс (так его звали) сразу обращал на себя внимание изысканностью в одежде и модным одеколоном. Марфа безошибочно определила в нем дворянского сынка, а когда узнала громкую графскую фамилию и вовсе поразилась, как такой франт попал в Партию. В приватной беседе Розенберг ей доходчиво объяснил, что товарищ Феликс, несмотря на дворянское происхождение, отнюдь не богат, графским титулом не кичится, является убежденным социалистом и проверенным соратником. В этом можно было не сомневаться, ибо прежде чем пригласить его в партию, за ним долго и пристально наблюдал Юдкевич – их главный партийный агитатор в Киевском университете. Марфа чуть успокоилась, но своего брезгливого отношения к лощеному графу Воронцову не изменила.

При этом сам Феликс увлекся ею с первого взгляда, нырнул, что называется, в омут с головой. Уже после первой их встречи на собрании он с присущим дворянам апломбом выразил готовность провести ее до дому. И конечно, получил отказ. В следующие разы он про-

должил делать ей знаки внимания, пытался вывести на откровенный разговор, но так и не добился успеха. Патологическая неприязнь буржуев заставляла Марфу действовать жестко и решительно. При этом она прекрасно отдавала себе отчет, что едва ли когда-то еще встретит такого красавца, как Феликс. То, что она оставляла без внимания его ухаживания, придавало ей сил.

Потерпев ряд неудач, «его сиятельство» заметно осел и оставил Марфу в покое. Девушку это несколько смутило. Во-первых, она не ожидала, что он так быстро сдастся – хотелось поиздеваться над ним подольше. А во-вторых, она разуверилась в своей собственной привлекательности. Это второе стало для нее неприятным откровением и порядочно испортило настроение. Она уже начала сожалеть о своем поведении в отношении Феликса. Стала к нему присматриваться. Расчет графа Воронцова был точен, но вмешались в дело иные обстоятельства, которые навсегда отдалили от него Марфу.

Одним сентябрьским днем, в канун Рош Гашана (еврейского Нового года), к ним в ателье зашел молодой господин с чуткими, умными, глубоко посаженными глазами и вершковым шрамом по левому виску. Увечье это несколько его не безобразило, но пробуждало живой интерес. Однако больше шрама выделялись в нем глаза. Чистые и светлые, но при этом удивительно сосредоточенные, цепкие и, пожалуй, требовательные – они будто брали вас в тески и не отпускали. Будто видели всю вашу подноготную насквозь и тотчас оценивали самое вас. Свойство это одновременно пугало и привлекало и явно говорило о непростой судьбе, перенесенных испытаниях.

Прейгерзон по случаю предстоящего праздника ушел по своим делам, поэтому обязанности приказчика он в очередной раз возложил на Марфу. Завидев ее, господин вздрогнул и даже, казалось, разволновался, но быстро взял себя в руки. В ней тоже что-то екнуло. На нем был форменный черный сюртук, какие носят большинство русских чиновников. Ателье Лейбы Прейгерзона специализировалось на партикулярном платье, поэтому в знаках различия и фасонах отдельных ведомств Марфа не разбиралась.

Необычный господин обращал на себя вниманием не только пронзительным взглядом и вершковым шрамом на виске, но и продольными погонами с двумя просветами и двумя звездами. Что это за чин, Марфа не представляла, но знала точно, что подавляющее большинство чиновников носят не погоны, а петлицы. Насторожилась.

Мужчина снял фуражку, обнаружив аккуратно убранные темно-русые волосы, поздоровался.

– Чего изволите, ваше благородие? – любезно спросила Марфа, натянув приветливую улыбку.

Снова сконфузившись, господин в форменном сюртуке не стал ей делать замечания относительно неправильного обращения, но заявил, что желает пошить строгую пару. Девушка показала ему образцы тканей. Чиновник выбрал одну из самых дорогих – английский твид, даже не спросив цену. «Стало быть, богат», – решила она. На самом же деле он банально забыл спросить цену, попав под влияние ее очарования.

Марфа начала снимать с него мерки, попросив прежде снять сюртук. Привыкшая к подобным процедурам, она, тем не менее, испытывала великое волнение, когда обхватывала грудь неизвестного чиновника лентой. Тот неподвижно стоял, послушно поднимая руки в белой сорочке с галстуком.

– Позвольте узнать, как вас зовут? – осмелел незнакомец.

– Марфа, – равнодушно ответила девушка, продолжая обвивать его измерительной лентой. Но неожиданно для самой себя спросила, – А вас?

– Антон.

– А по отчеству?

– По отчеству не нужно. Для вас я просто Антон, – и улыбнулся.

Она улыбнулась ему в ответ.

– Вам всё же придется назвать свое отчество и вдобавок фамилию, иначе я не смогу принять ваш заказ.

– Как вам будет угодно. Мое имя Антон Федорович Горский.

Марфа сделал соответствующую пометку в журнале. Уточнив некоторые детали фасона будущей пары, она велела ему прийти в понедельник на примерку.

– Так скоро? – поразился Горский.

– Вас это огорчает? – кокетливо отозвалась швея.

– Нет, что вы! То, что моя пара будет готова к понедельнику, это чудесно.

– В понедельник будет лишь предварительная примерка. После нее, как правило, необходимо будет уладить детали, поэтому вам придется прийти к нам еще как минимум дважды.

– Признаться, я ходил бы к вам целый год, если бы знал наверняка, что каждый раз меня будете встречать вы.

Марфа вспыхнула.

– Извольте внести задаток, – не своим голосом попросила она. Чиновник Горский, несмотря на очевидный недостаток и благородное происхождение, сразу запал ей в душу.

Глава 5

Душа Филиппа Бабенки пела и цвела. Никогда ему еще не было так хорошо и весело. Он будто помолодел и посвежел, а самая его жизнь наполнилась яркими красками, которые прежде составляли один лишь унылый серый колер.

Партия социал-демократов вдохнула в него идею, ради которой стоило терпеть все трудности и невзгоды заводского рабочего. Он искренно поверил, что однажды вставшие плечом к плечу товарищи вышвырнут вон толстосумов-директоров и администраторов, выгонят чванливых чешских инженеров и мастеровых и воссияет над заводом красное знамя свободы. Власть возьмут в свои руки его, Филиппа, соратники, и закончится темная эра бесправия, произвола и жестокости. Рабочий класс вздохнет полной грудью и сможет спокойно и достойно трудиться на благо собственной семьи и на благо Отечества.

Сокровенные мечты приятно согревали душу токаря весь рабочий понедельник. И если раньше он ненавидел понедельники за их обреченность и отдаленность от выходных воскресений, то теперь благоговейно стоял у станка в ожидании вечера. Единственную ложку дегтя в бочку меда добавляла паникерша-жинка, которая настоятельно просила бросить Филечке эти собрания и эту партию «к чертям собачьим». Говорила, что где это видано, чтобы «взрослый батя по ночам на сходки шлялся». Боялась, верно, что он ей изменит, да у Бабенки и в мыслях такого не было. «Не доведет тебя до добра эта твоя политика! Подумал бы лучше о детях!..» – глубоко вздохнув, сказала она ему. Филипп ей пообещал, что скоро они заживут «як должно», что все заводы и фабрики перейдут в руки рабочих и будет всем благо. Жена испуганно крестилась и крестила мужа. Он лишь махнул на нее рукой. Что с нее взять, с темноты?

Но даже этот эпизод не сумел испортить токарю приподнятого настроения.

В шесть с половиною часов после полудня Бабенко вместе со своими товарищами по партии на двух трамваях доехали до Львовской площади, а оттуда, повторив давешний маршрут Филиппа, через четверть часа вышли к Волчьему яру. Кивнув пышноусому сторожу, они напрямик направились к дому с мезонином. Здесь всё было спокойно.

Собрание в тот вечер прошло великолепно. Что за «грандиозные события» грядут в Киеве, Розенберг не сказал, зато доходчиво разъяснил некоторые постулаты социал-демократической партии и призвал всех собравшихся активно вести пропаганду «истинных ценностей». При этом он заявил, что их Лукьяновская ячейка нуждается в пополнении, поэтому каждый ее член вправе привести на собрание того, в ком он уверен, не забывая о мерах предосторожности. Звать потенциальных революционеров следовало по одному, по возможности заранее известив о личности приводимого Розенберга. Встречи назначать у ворот Старообрядческого кладбища, чтобы не провалить явку. И самое главное, приглашать в партию надлежало лишь тех, в ком уверен не меньше, чем в себе. «Тогда, товарищи, у нас будет самая крепкая из всех ячеек РСДРП!» – торжественно закончил свою речь присяжный поверенный. Новое собрание он назначил через день, в среду, 12-го октября. Филиппу стало даже несколько досадно, что в предстоящий вторник придется провести вечер дома. Но ведь не каждый же день в Лукьяновку мотаться? Да и жинка обрадуется.

Захмелевшие от выпитого вина рабочие (все, за исключением Бабенки, который и капли спиртного в рот не брал), дружно обнявшись, побрели по домам через Косогорный проезд, бесстрашно распевая «Рабочую марсельезу», слов которой Филипп, к своему стыду, не знал:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.

На Кудрявском проезде им навстречу попался городской в черной шинели, совершавший обход. Завидев пьяных рабочих, горланивших крамольную песню, страж порядка сделал им замечание, велел вести себя пристойно. В противном случае пригрозил сдать всю компанию в ближайший участок.

Разгоряченным товарищам Филиппа это не понравилось, они смело заявили, что петь не перестанут и что его, «царского пса», не боятся (ей-Богу, так и сказали!). Опешивший от такой наглости городской несколько секунд приходил в себя, затем громко рявкнул «молчать!», выругался по матери и потянулся за свистком. Но позвать на помощь соседних постовых он так и не смог, потому как в то же мгновение один из токарей (самый рьяный, по фамилии Сердюк) молнией кинулся на городского. Повалив стража порядка на грубую булыжную мостовую, токарь несколько раз с размаху врезал тому в лицо.

Филипп стоял как вкопанный, с ужасом наблюдая за происходящим. Никогда еще на его глазах не избивали городского.

– Ну шо вы стоите! – крикнул им Сердюк в одиночку борющийся с полицейским. – Допомагайте!

Двое токарей, что стояли рядом с Бабенкой, очнулись и кинулись на помощь товарищу. И только Филипп не двинулся с места, не в силах побороть свой страх.

Поняв, что дело швах, городской из последних сил оттолкнул навалившегося на него токаря и, достав из кобуры револьвер, стал целиться в набегавших рабочих. Всё это произошло так быстро и стремительно, что Филипп и глазом не успел моргнуть. Зато не бездействовал Сердюк. Защищая товарищей от верной гибели, он выхватил из-за пазухи блеснувшую в темноте финку и глубоко вонзил ее в грудь городского, пробив плотную шинель. Городской глухо застонал, дико выпучил глаза и выронил револьвер.

– Тикаем, братцы! – крикнул подоспевшим товарищам Сердюк.

Как он добрался домой, Филипп не помнил. Помнил лишь, что бежал сломя голову, сшибая редких прохожих.

«Беда... Беда!» – крутилось в его голове. «Я – преступник. Я стал соучастником нападения на городского. А может, и соучастником убийства... Наверняка убийства... Нож вошел глубоко... Поблизости ни души... Никто ему не поможет... Эх!.. Надо было звать доктора!.. Тогда бы, мабуть, спасли...»

Глава 6

В понедельник 19 сентября у евреев начался пост Цом Гдалия. Что он значил и от чего иудеям следовало воздержаться, Марфа не знала и не интересовалась, но сочла необходимым поздравить подружек-швей и самого Лейбу Прейгерзона. Хозяин ателье подробно расспросил русскую девушку, бывшую за приказчика, кто приходил в его отсутствие и что заказывал. При этом он сперва заглянул в журнал. Всё-таки евреи... весьма необычные люди, стоит признать.

Марфа подробно рассказала о принятых с пятницы заказах, поведав при этом, что успели сделать швей за всё это время. А успели они немало, и вот почему. В пятницу трудились все впятером. В субботу ателье Прейгерзона никогда не работало, а тут еще и на воскресенье выпал второй день еврейского Нового года, поэтому умевший считать деньги хозяин, ввиду обилия заказов, упросил Марфу поработать в субботу, а в воскресенье выйти лишь в качестве приказчика, посулив щедрое вознаграждение. Девушка охотно согласилась. В Бога она верила слабо, поэтому ничего зазорного в том, чтобы работать по воскресеньям она не видела. И даже несмотря на то, что Прейгерзон просил ее лишь послужить приказчиком, она всё же садилась за машинку, желая поскорее окончить несколько начатых платьев.

Прослушав доклад Марфы, хозяин довольно причмокнул, пожевал губами и спросил о клиенте, который заказал в пятницу пару из дорогого английского твида.

– Клиент, как клиент, – пожал плечами девушка, не замечая, как на ее щеках выступает румянец. – В форменном сюртуке – стало быть, чиновник.

– Какого ведомства, какого класса? – прицепился Лейба. Про каждого нового клиента он допытывался с особенным пристрастием.

– Да Бог его знает, господин Прейгерзон! Сами знаете, я в чинах и казенных сюртуках не разбираюсь!

– Во-первых, дорогая Марфа, я тебя раз сто просил не называть меня «господином Прейгерзоном», а обращаться ко мне по имени...

– Нет уж! Вы много старше меня, поэтому фамильярничать я с вами не собираюсь! – запротестовала швея. – Если хотите, могу называть вас Лейба Мордухович.

– Будь добра. Так всяко лучше, чем «господин Прейгерзон».

– А что во-вторых?

– А во-вторых, коли я доверяю тебе замещать должность приказчика, тебе следовало бы изучить форменные сюртуки и петлицы, чтобы не попасть в глупое положение. Вот, к примеру, какие на том господине были петлицы?

– А не было у него никаких петлиц! У него погоны были.

– Да?.. – изумился Прейгерзон. – Неужто полицейский?

– Неет! Фараона я определю безошибочно!

– Военный?

– Нет же! Вы уж совсем меня за дуру держите!

– Так кто же он?

– А Бог его знает!

– Ну а погоны-то какие у него были?

– Погоны? Дайте вспомнить... – Марфа сделала вид, что усиленно вспоминает, хотя запомнила их тотчас. – Две звезды с двумя просветами.

– Коллежский ассессор? Гм. Недурно, – заметил хозяин, почесав подбородок.

– И что это значит? Высокий чин? – осторожно осведомилась швея, маскируя симпатию к этому человеку.

– Не сказать, что высокий, но и не замухрыжный. Восьмой класс. Тут всё дело в погонах. Стало быть, он важную должность занимает. Молод, стар?

– Молод еще. Не более двадцати шести.
– Быть может, помощник частного пристава?..
– Да говорю же вам, не шпик он!
– Да с чего ты взяла? У гражданских чиновников в полиции сюртуки обычные, неприметные. К тому же я ума не приложу, у кого еще могут быть в наше время погоны.
– Коли вам так хочется, спрошу у него в другой раз!
– И не вздумай! Такие господа не любят, когда в их жизнь лезут. Да и дурой круглой выставишь себя. Да, кстати, как ты к нему обращалась? – перепугался вдруг Прейгерзон.
– Как-как? Ваше благородие, как же еще!
– У, балбесина!.. – тихо взвыл хозяин. – Запомни на будущее, если на статских погонах два просвета – таких надо именовать «вашим высокоблагородием». А если один – «вашим благородием». Унизила человека. Он, должно быть, сделал тебе замечание.

– Не сделал, – запунцовела Марфа. Прав Прейгерзон: классы и погоны с петлицами надо выучить.

– Это хорошо, что не сделал. Значит, порядочный и скромный. Тогда действительно не из полиции. Там таких отродясь не бывало, – съязвил еврей.

– Да, кстати, в воскресенье пристав навещался по вашу душу.

– Зачем это? – напрягся Лейба Мордухович.

– С праздничком иудейским вас поздравить зашел. Звал к себе на чай. Просил передать, чтобы вы к нему непременно перед Покровом заглянули чайку испить.

Прейгерзон побледнел. Это значило, что пристав снова требовал денег за покровительство. А ведь каков наглец: в прошлый раз Лейба «пил у него чай» перед Рождеством Богородицы, то бишь не более двух недель назад. Однако!..

Впрочем, портить отношения с приставом хозяин ателье на Фундуклеевской не собирался. «Красненькую» он ему, конечно, отнесет. Жить под защитой пристава всяко прибыльней...

– Если снова заглянет, ответь, непременно зайду. Когда бишь у вас Покров?

– Первого октября!

– Ну и хорошо. Успеется.

– Куда же вы, Лейба Мордухович?

– К брату на Подол съезжу, с праздником поздравлю. Сегодня меня не жди. Снова оставлю тебя за старшую. И за приказчика.

Прейгерзон уехал, а через час в ателье зашел господин с цепким взглядом и шрамом на виске. С достоинством сняв фуражку и картинно распрямив спину, как это умеют делать только дворяне, молодой чиновник скользнул рукою по волосам, кашлянул в кулак и низко поклонился, явив скромную улыбку. Что скрывалось за этой «скромной улыбкой» Марфа догадывалась, ибо все буржуи одинаковые. Однако этот отчего-то отнюдь не вызывал подозрений. Его светлые, чистые, сверлящие глаза глядели на нее пристально, но, что важно, отнюдь не бессовестно, а будто стараясь что-то в ней открыть, отыскать толику взаимности. Она, безусловно, пленила его сердце, и он, кажется, даже не пытался это скрывать.

– Здравствуйте, ваше высокоблагородие! – радушно отчеканила Марфа и замолчала. Вышло несколько льстиво и неестественно.

Он это сразу заметил и смутился не меньше нее. О чем-то задумался, сдвинув брови. Марфа поспешила выправить положение:

– Я должна перед вами извиниться. Когда вы приходили в первый раз, я неверно назвала вас «благородием».

– Забудьте, пустое, – криво улыбнулся Горский. – Для вас, Марфа, я Антон.

– Коли мой хозяин услышит, что я вас так называю, тотчас оштрафует! – хихикнула швея.

– Стало быть, это он вас просветил относительно моего чина?

Девушка кротко кивнула.

– Но я вижу, что его снова нет, поэтому вы вольны называть меня как вам вздумается.

– Если вы согласитесь подождать одну минуту, я принесу ваше платье.

Спустя мгновение Марфа вернулась с готовой твидовой парой и попросила Горского удалиться в примерочную. Чиновник со шрамом на виске послушно исполнил приказание. Одевшись за полминуты, он вышел на середину зала в элегантном пиджаке (укороченном сюртуке) и не менее элегантных брюках. Смотрелся он восхитительно. Будто и не русский вовсе, а какой-нибудь заезжий иностранец: англичанин или немец. Марфа едва смогла сдержать восторг.

– Ах, как вам хорошо, Антон... Федорович! – спохватилась она. Что ни говори, а платье удалось ей на славу. Не зря она для него так старалась.

– Великолепно! – воскликнул чиновник. – Позвольте осведомиться, ваша работа?

– Моя! – довольно отозвалась девушка, не в силах удержать улыбку.

– В таком случае вы швея от Бога! У вас несомненный талант! Право, вы большая мастерица, Марфа!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.